

18+

ЕЛЕНА ИЛЬЗЕН

**СОСТАВИТЕЛЬ
ВАСЮЧЕНКО ИРИНА**

Ирина Васюченко

Елена Ильзен

«Издательские решения»

Васюченко И.

Елена Ильзен / И. Васюченко — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-987418-4

Эта книга — памятник. Она воздвиглась в честь удивительного и мудрого человека — Елены Ильзен: необыкновенного поэта, стойкой и красивой женщины с нежной душой и очень трудной судьбой. Те, кому повезло ее знать, любили ее. Радовались своей причастности к живому чуду. Зарвавшаяся власть во все времена тщится убить душу, задушить инакомыслие, вытоптать разум. Елена Ильзен всей жизнью доказала, что смелому сердцу и ясной голове не страшны ни угрозы рабства, ни его искушения.

ISBN 978-5-44-987418-4

© Васюченко И.
© Издательские решения

Содержание

Про даму в шляпе, шляп не носившую	6
Елена Ильзен-Грин	7
Цикл «Война»	7
Мальчику	7
Смерть	7
Слепому	7
«Меняю жену на табак...»	8
Салют	8
Танк	9
Богу	9
«Оборвалось – и концом в лицо...»	9
«Чем я лучше любой девки?..»	10
«Лифт задумался меж этажами...»	10
«Россия – кривые дороги...»	10
Жизнь	11
«Узел связан – не развяжешь...»	11
Цикл «Лагерь»	13
Приехали	13
Драка	13
«Мы-то знаем, что нет Парижа...»	13
Вышка	14
Комиссия	14
Конвоир	14
Цикл «Утро нашей Родины»	15
Врач	15
Палач	15
Шмон	16
«Стою у пропасти бездонной...»	16
Цикл «Сервантесу»	17
«Люди карабкаются к счастью...»	17
Дон Кихот на перепутье	17
Рыцарю страшно	17
Музе	18
Её не забыть	19
Екатерина Федорова	19
Реплики в споре	28
1. Письмо к Варламу Шаламову	28
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Елена Ильзен

Ирина Васюченко *Составитель*

ISBN 978-5-4498-7418-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Про даму в шляпе, шляп не носившую (От составителя)

Откуда взялось такое заглавие, станет ясно тому, кто дочитает эту книгу до конца. А пока нужно, чтобы хоть тень усмешки промелькнула в ее начале.

Начало же будет невеселым. Ведь героиня и отчасти автор книги смолоду угодила в ГУЛАГ. Отца расстреляли, мать и сестру посадили, маленькую дочь отправили в детдом. И стихи, которые должны быть услышаны прежде всех рассказов ее, о ней и около, там писались, в лагере. Они суровы, тревожны, печальны. До улыбок ли тут?

Всё так. Но книга, составленная любившими Елену Алексеевну Ильзен-Грин в память о ней, требует солнечного зайчика даже на самом мрачном фоне. Слишком остроумной, яркой, смелой она была, слишком пренебрежительно фыркнула бы, если бы в её честь кто-то вздумал закатывать глаза, надувать щёки, трагически вещать. Это под запретом, а значит, остается лишь сказать, что здесь собрано то немногое, что сохранилось из написанного Еленой Ильзен, и то, что некоторые из знавших ее поведали о ней. Уж как сумели.

«Стихи надо писать!» – такими неожиданными были последние слова, которые я от неё услышала. В больнице, на прощанье. Почему? Ведь она сама давным-давно их не сочиняла и не знала, что я таки изредка исподтишка кропаю вирши. Это был не завет изъясняться непременно в рифму и в столбик, а подначка к красивой игре назло унынию, которое ей, умирающей, было скучно читать на физиономии собеседницы.

Но стихов, посвященных Елене Алексеевне, у меня так и нет. Не сумела.

Елена Ильзен-Грин

Цикл «Война»

Мальчику

Обрили голову наголо
И сказали «Воюй!»,
И смерть обнаженная, наглая,
Первая встретилась в бою.

Вместо невесты,
Которой еще не приискано,
Вместо мамы и вместо
Жизни от двадцати до восьмидесяти.

Смерть

Издыхающим дальним рокотом
Потревожена звездная твердь.
Как гулящая баба, шатается по полю
Развеселая пьяная Смерть.

Красные пальцы. Никак не поймешь —
Маникюр или кровь на ногтях.
Господи, помилуй! Спаси, Боже!
А рядом кто-то кричит «Ура!».

Слепому

Заклубилось чертово курево.
Рванулся назад.
Увидели смерть и умерли
Глаза.

Чей-то ряженный-суженый
Наощупь свой дом узнал
И принес ненужные
Седые глаза.

«Меняю жену на табак...»

Меняю жену на табак.
Это так.
Хорошо бы «табак» рифмовать с «кабак»,
Да закрыт кабак, и замок с кулак.
Моей девочке очень холодно,
А девочке две недели.
Это ли не молодость...
Мы вчера ели, ели, даже всего не доели!
Говорит диктор из Ленинграда.
А что он сегодня ел?
Боже, как много надо
Человечьему маленькому телу!
Должна же быть романтика.
Конечно, есть.
Ходит девушка в шинели и с бантиком,
Все ей отдают честь.

Вот отнесло в сторону
Человечью пятипалую руку,
Кончилась чья-то молодость,
А рядом еще ухнуло.
Ребята, не Москва ль за нами!
Умрем же под Москвой!

Салют

Чтоб веселым фейерверком
Разлетались звезды,
Сколько жизней исковеркано
Просто.
Рассыпайтесь, звезды, ярче,
Кровью политые,
Открывался просто ларчик —
Нету вас, родные.
Вечная слава героям,
павшим за свободу
и независимость нашей Родины!
Значит, пройдены
Рана, госпиталь, последние минуты.
А наутро
Долговязый труп
Волокут
В братскую могилу —

С чужими, немилыми.
Слезами не полита,
Песочком не посыпана
Могила та
Забытая.
Плачет жена, мать —
Мой родимый не придет,
Мой кормилец не придет,
Некого мне ждать...

Танк

Он стоит, исковерканный и большой,
А кажется маленьким и нестрашным.
А чтобы он уж наверное не пошел,
Кругом раскинулась пашня
И проросла травой,
Молоденькой, дерзкой, узкой.
И, как высшее торжество,
По гусенице танка ползет
настоящая гусеница.

Богу

Твоей неправдой наповал
В грудь навывлет не ранена, а убита.
Боже правый,
Насмехайся над моими молитвами,
Детскими, глупыми.
Все обернулось ложью,
Тупо,
Безбожно.
Гляжу растерянно
На круглую злую землю...
Не в Бога я, милый, не верую,
Я мира его не приемлю.

«Оборвалось – и концом в лицо...»

Оборвалось – и концом в лицо.
Кровь с носу, из глаз искры;
Теперь – раны зализывать под крыльцо,
Руки кусать, щеночком повизгивать;

Теперь – ноги таскать изо дня в день,
Голову отрывать от подушки,
Пыль, пыль, тоска, лень...
Послушай...
Вот сердце живое бьется, потрогай,
Над ним грудь закруглилась...
И некому помолиться за меня Богу,
Чтоб дал мне силы.

«Чем я лучше любой девки?..»

Чем я лучше любой девки?
Жизнь моя публична, как площадь.
За угол влево
Завернула какая-то лошадь,
Вероятно, очень хорошая,
Но только немножко загнанная.
Вижу кучки прохожих
При вспышках трамвайного магния.
В чужих окнах всегда уютно,
Лучше, чем у себя дома;
На улицах сегодня людно,
А я почему-то ни с кем не знакома.

«Лифт задумался меж этажами...»

Лифт задумался меж этажами,
В клетке лестницы темно;
Луч косою ступеньку жалит
Сквозь высокое окно;
Луч сошел ступенькой ниже,
Лифт вдруг дрогнул – и пошел.
И я слышу – ближе, ближе —
Быстрый бег твоих шагов.

«Россия – кривые дороги...»

Россия – кривые дороги,
Всегда не прямые пути,
Я изранила босые ноги
О немилые камни твои.

Эх, яблочко,

Да куда котишься?
Ко мне в руки попадешь,
Да не воротисься.

Я в просторах твоих задохнусь,
Непонятны твои пути,
О, святая великая Русь,
Отпусти!

Жизнь

С исказившимся лицом
Бичевать бечевой плечи
Перекрученным концом,
А рубцами святость метить.
И Христа искать в пустыне,
Умерщвляя плоть постом,
Чтоб в неслыханной гордыне
Рассмеяться над Творцом.
И, тебя случайно встретив,
За тобой пойти рабой,
По неведомой примете
Знать, что ты мой дорогой.
И тебе детей рожая,
Щи давать тебе жирней,
Чтобы жизнь текла простая
Много-много сотен дней.

И как только устану —
Уйти,
Чтоб в жизнь обман
Не пустить.
И на Волгу богомолкой
Поплестись,
Прокатиться по дорогам,
Словно лист...
И, душой не приемля Россию,
Вдруг вернуться к святыням Кремля,
Когда небо особенно сине
И особенно пахнет земля.

«Узел связан – не развяжешь...»

Узел связан – не развяжешь.
Не порвать, не разрубить.

Ты мне сужен, ты мне ряжен,
Ты не смеешь не любить.
За тобой – хоть в омут головой.
Без тебя – хоть в омут головой.

Цикл «Лагерь»

Приехали

Це ж тебе не Рио-де-Жанейро,
Это даже не ад Данте —
На воротах написано:
«Выполним задание первыми!»
Вместо «Lasciate ogni speranza...»
У входа клубится толпа народа,
Пасти измазаны липкой руганью.
Внутри
шевелиются какие-то уроды.
Все – трудно.
Бритые бровки —
Идет воровка
Самая
Красивая!

Звезда моя,
Спаси меня!

Драка

Тугим клубком схлестнулись тела
То ли в драке, то ли в любви.
Встает заря алым-ала.
Глухо все. На помощь не зови.
Тузят друг друга что есть силы.
Хрустнуло. Чей-то зуб, вероятно, сломан.
И вот из клубка высунулось свиное рыло
И хрюкнуло: «Ессе Номо!»

«Мы-то знаем, что нет Парижа...»

Мы-то знаем, что нет Парижа,
Что не существует Египта,
Что только в сказках океан лижет
Берега, солнцем облитые.
А существует только
Страшная, как бред алкоголика,
Воркута.

Здесь нам век коротать.

Вышка

Из серых досок неструганных
На длинных ногах-сваях
Стоит скворешня строгая,
Кажется: вот-вот зашагает.
Это не жилье человечесье,
Там нельзя ни спать, ни обедать.
Но человек там торчит вечно,
Глазеет на мои беды.
Ничто-то ему не любо.
Он караулит меня, узника.
Ничего, не горюй, ты! в шубе!
Всякий труд одинаково почетен
В Советском Союзе.

Комиссия

В бараке чисто-пречисто,
Под головой ни одной портянки,
Какой-то начальник выговаривает речисто:
Ежели что... В порошок сотрет... Подтянет...
Обед сегодня, конечно, мясной,
До седьмого блеска начищены миски.
Не шевелись, не дыши, стой!
К нам едет санитарная комиссия!

Конвоир

На фоне нас, измученных и серых,
Цветет роскошный, пышный конвоир.
Его большое кормленное тело
Нам застит целый Божий мир.
На автомате равнодушно держит руку.
Он презирает нас. Так выхолненный пес
На шелудивую не глянет суку.
Он сыт,
Он мыт,
Он брит,
Он курит сколько хочешь папирос.

Цикл «Утро нашей Родины»

*Травка зеленеет,
Солнышко блестит...
А. Плещеев
Завтра казнь...
А. Пушкин*

Врач

К врачу двоих ввели,
Раздели, одели и увели.
Врач под картиной «Утро нашей Родины»
Сел заполнять форму:
«Легкие – норма, сердце – норма,
К расстрелу годен».
Вымыл руки,
Поколос морфием прямо сквозь брюки.
Поспать бы успеть,
Пока к тем двоим позовут
констатировать смерть.

Палач

В полночь будильник звонит, звонит отчаянно.
Палач встал, подавил зевоту,
Съел булочку, выпил чаю,
Не спеша пошел на работу.
У него сегодня много ли дела —
Два каких-нибудь расстрела.

А несчастные мечутся в чайные чуда.
Откуда же чудо, раз есть Иуда!
Войдут сейчас, возьмут сейчас, убьют сейчас —
В предрассветный час.
Так и были ликвидированы
Двое посмертно реабилитированные.

Человек, не будь палачом!
Никогда, нипочем!

Шмон

Чужие пальцы касаются домашних вещей,
Равнодушные глаза пялятся
На фотографии твоих детей.
Не дрожи, непослушное тело.
Господи, пронеси мимо!
В штанах спрятаны неумело
Письма твоей любимой.
Это первые годы. Потом ты уже можешь
Думать, хитрить, смеяться,
Твои драгоценности —
чернильный карандаш и ножик —
Спрятаны надежно, нипочем не догадаться.
А в последние годы тебе все равно,
Ты привык давно
К мордам ищеек,
Черт с ними, пусть...
Нет у тебя ни любимых вещей,
Ни сильных чувств.

«Стою у пропасти бездонной...»

Стою у пропасти бездонной,
Тупо и властно тянется бездна.
Дышу, кажется, спокойно и ровно,
Впрочем – поговорим серьезно:
Жизнь совершенно бессмысленна,
Как клочок волос на лысине.
Любовь?! Дружба?! Ах, бросьте!
Меньше дряни будет на совести.
Рядом кому-то бьют морду.
Не правда ли, человек – это звучит гордо?
Летит большая птица, виднеется длинный клюв,
Повеяло утренней свежестью.
И вот
воды не замутив, травы не шелохнув,
Неслышно подошла надежда.

Цикл «Сервантесу»

«Люди карабкаются к счастью...»

Люди карабкаются к счастью,
А попадают в беду,
Большие и маленькие страсти
Вспыхивают, как в бреду.
Я не люблю вас, крохотных,
Ваши вопли во тьме.
А Сервантес Дон Кихота
Взял и выдумал в тюрьме.

Дон Кихот на перепутье

Сколько в одежде дыр,
Столько на теле ран.
Очень просторен мир,
Много на свете стран.

Куда направить коня?
Где больше опасностей будет?
Который путь весел и труден?
Куда направить коня?

Рыцарю страшно

Какая-то тень легла на костер.
Поднял глаза, посмотрел в упор
На серую, как смерть, старуху.
Костер от страха задрожал и потух.
Во весь свой рост спокойно встал,
Поклонился низко, как кланяются даме:
«Сеньора Смерть, я вас узнал,
Идемте, я готов следовать за вами».
Старуха засмеялась, будто посыпались костяшки,
Сухим языком губы облизывает:
«Вы ошиблись, синьор, я – Жизнь».
И в первый раз рыцарю стало страшно.

Музе

Благодарю тебя, мой друг,
Моя неласковая Муза,
Что без обетов, без порук
Верна нелегкому союзу,
Что глаз закрыть не смела ты
Меж горя, голода и зла,
Что ни одной людской беды
Ты от себя не отвела.
Мы спустимся с тобой на дно,
Умрем и, может быть, воскреснем,
Коль скоро будет нам дано
Нетленную придумать песню.

Её не забыть

Екатерина Федорова

Огромное спасибо Екатерине Сергеевне Федоровой, она первая, сохраняя драгоценную для многих память об Елене Ильзен, собрала в своей статье воспоминания ее близких, сведения об истории ее семьи, собственные размышления о ее жизни, личности, поэзии. Вот эта статья .¹

Та, о ком пойдет речь, принадлежала к российской ветви потомков шотландского рыцаря Моллесона, служившего королю Ричарду Львиное Сердце. Это экзотическое обстоятельство не имело особого влияния на ее судьбу и мироощущение, но в чем-то сродни ее образу. Да и само по себе любопытно, почему не упомянуть о нем вскользь?

Блиские звали ее Алей, Аленой Ильзен, а в русскую поэзию она вошла как Елена Алексеевна Ильзен-Грин. Вошла уже после своей смерти, в 1991 году, и та тоненькая книжка издательства «Возвращение» почти не была замечена. Читатели той поры, оглушенные гигантской волной перестроечных публикаций, не расслышали этого негромкого, но очень своеобразного голоса.²

При жизни Елена Ильзен с неумной и целеустремленной энергией помогала всем, кто нуждался в участии, – бывшим политзаключенным; гонимым, но сохранившимся в советское время толстовцам (о судьбе которых общество и не ведало), бездомным собакам, каждую из спасенных называя одним-единственным именем Чара.

Сдержанная, суховатая, ироничная манера держаться этой рафинированной дамы, породисто-горбоносой, аристократичной, обладавшей острым язвительным умом, владевшей искусством литературной беседы, умевшей подать внезапную меткую и колкую реплику хрипловатым, чуть треснутым голосом, блестяще понимавшей литературу, искусство, знавшей толк в литературных переводах – ничто в ее утонченном облике и светском общении, казалось, не предвещало таких глубин действенного сострадания и бесстрашия. Впрочем, долгие пост-сталинские годы ее деятельность оставалась потаенной – даже хорошие знакомые Елены далеко не всегда догадывались о ней. А вспоминался при взгляде на скульптурную лепку ее великолепной головы с гладко зачесанными волосами, благородным тонким носом, высоким лбом – круг Ахматовой, изысканный и пряный аромат Серебряного века. Да и на самом деле в ахматовских записных книжках часто обнаруживается лаконичная запись: «Ильзен». Большого дневнику не доверялось. Ильзен всегда посещала Ахматову, когда та оказывалась в Москве. А под одной из таких записей – редко публикуемое стихотворение:³

Не преувеличиваем ли мы значение их знакомства? Почему такой лаконизм? Кто жил в те времена, такого вопроса не задал бы. Люди тогда привыкали не афишировать своих дружеских связей без необходимости. Ахматова тоже, конечно, этого избегала. Но когда подобные предосторожности стали излишними, в печати появились мемуары, дневниковые записи, свидетельствующие о не столь уж редких встречах Ахматовой и Ильзен.

Оригинальное творчество Елены Ильзен, та воистину бесценная поддержка, которую она оказывала многим опальным литераторам, ее огромная роль в распространении «самиздата»

¹ Опубликовано в «Вестнике Московского университета». Серия 9. Филология. 2000 г.

² Елена Алексеевна Ильзен-Грин (1919—1991) – поэт, переводчик, писатель; в 1947 г. репрессирована и осуждена по ст. 58, в воркутинских лагерях была медработником.

³ Н. И. Столярова. – Вопросы литературы. – 2002. №2. – с. 285—290; Анна Ахматова

пока едва-едва известны. Но мне верится, что в истории русской словесности, где при всех подспудных ужасах XX века тайное в конце концов становится явным, Елена Ильзен-Грин со временем займет свое настоящее и очень значительное место. С конца 50-х, после возвращения из лагерей, ее дом, ее личность и личность ее мужа Жоржа (Георгия Львовича) Грина – американца, юношей приехавшего с семьей строить коммунизм в СССР и, как водится, «загремевшего» в лагеря, – становятся центром притяжения. Под их кровом происходят встречи людей творческих, не отрекшихся от внутренней свободы, от потребности выражать свои мысли в слове. В ее памятной для многих квартире в одном из знаменитых писательских домов возле метро «Аэропорт» Галич дает концерты «для узкого круга без стукачей», здесь находят приют и понимание правозащитники Александр Гинзбург, Вера Лашкова, Владимир Буковский, да, наконец, множество интеллигентных, теперь уже мало кому известных людей, бывших лагерников и диссидентов.

Именно там, в доме отважной и наперекор всему независимой Елены Ильзен, с конца 50-х создается традиция собираться 5 марта, в день смерти Сталина. Отмечать его как праздник освобождения от ненавистного гнета. «Мама раскладывала дольки черного хлеба – в память о лагерных пайках, – рассказывает ее дочь Наталья, – а также селедку и картошку, делала из бумаги маленькие „вышки“, из спичек фрагменты проволочных заграждений. И первый тост был – за освобождение, за то, что тирана уже „земля не носит“. Помню имена Жореса и Роя Медведевых, журналистки, писательницы, психоаналитика Ангелины Рор, приехавшей в СССР созидать социализм и попавшей в лагерь (книга ее воспоминаний опубликована в 2006 году в издательстве „Звенья“), помню Льва Копелева, Константина Богатырева, литературоведа Леонида Пинского, любимого маминого друга, и многих, многих других...»

А начиналось это гораздо раньше, когда бесстрашная Алена еще в воркутинском лагере записывала не только свои, но и чужие стихи – опальных, расстрелянных, безвестных, эмигрировавших поэтов. Надеялась уберечь их для будущего... Эти желтые, ветхие рукописные тетрадки до сих пор хранятся в архиве ее дочери. Она отбывала срок в лагере и осталась жива лишь потому, что за плечами было два курса медицинского института, – это позволило ей получить работу в медсанчасти.

Потом, освободившись, Елена работала то официанткой, то в библиотеке, короче, где придется. Нужны были деньги, чтобы растить дочь Наташу, которую она, как только вырвалась из когтей ГУЛАГа, тут же взяла к себе. Но литературным трудом занималась всегда: без устали переписывала тексты, сама сочиняла, преподавала, переводила. Еще раньше, в конце 30-х, она попала в круг так называемых «максовых детей» – в доме Максимилиана Волошина в Коктебеле собирались дети его друзей, ее мать Елена Моллесон была из их числа. Интеллигентная, гонимая уже тогда, находила у Волошиных отдых и отраду. Связь с этим домом юная Алена сохранила и после смерти Максимилиана Александровича.

Когда она и ее младшая сестра Юлиана, дочери репрессированных родителей, познали беспросветную нищету, только культурная закваска помогла старшей не просто выживать и оберегать сестру, а жить неумно, ярко, с блеском. Елене было 18, когда ее выгнали из мединститута. Что ж, она работала, как и где могла – на «Трехгорке», в институте переливания крови лаборантом, в училище военных капельмейстеров преподавателем английского. Упорство ее натуры сказалось и в том, что преподавать английский она стала, сама зная его теорию (говорила-то она свободно) всего на урок больше, чем слушатели. Во время войны Елена Ильзен поступила в ИФЛИ (знаменитый, хоть и недолго просуществовавший Историко-философский институт), успела поучиться у известного литературоведа Гудзия, но завершить курс не удалось: она так тяжело заболела, что чудом не умерла. Учебу пришлось прервать, а возобновить было не суждено.

Зато ее знание иностранных языков оригинальным образом пригодилось в тюрьме – товарищам Елены по несчастью: «Мама выручала многих заключенных: ведь на Лубянке ока-

зывались и иностранцы-коммунисты, часто не знавшие русского языка. Она помогала им объясняться, буквально вытаскивала их из этого невероятного и нелепого положения», – рассказывает дочь Елены Алексеевны.

Ее поколению довелось увидеть и испытать на себе попрание всех человеческих ценностей. Оно, покалеченное в самой своей сути, до дна осознало одиночество, покинутость в мире, где и с Высшими силами связь поколеблена:

*«Боже правый, насмехайся над моими молитвами,
детскими, глупыми.
Все обернулось ложью – тупо, безбожно.
Гляжу растерянно на круглую, злую землю...
Не в Бога я, милый, не верую,
Я мира его не приемлю»,*

– так звучит одно из ее стихотворений.

Наталья Ильзен рассказывает: «Первым мужем мамы был Алексей Радус-Зенькович, из семьи поляков-бунтовщиков, сосланных в Архангельск после очередного польского восстания. Мама познакомилась с ним, когда преподавала в военном училище. Молодой человек хорошо играл на пианино, был образован и обаятелен. Его отец Виктор Алексеевич, большевик-ветеран, участвовал в съездах партии еще до революции, работал с Лениным, перевозил запрещенную литературу из-за границы, был агитатором, за что и попал в царскую тюрьму, где сидел в одной камере с Ильей Эренбургом, который позднее вспоминал о нем в своей книге. Семья жениха знала Алексея Ашупп-Ильзена, такого же старого большевика, но была отнюдь не в восторге от сыновнего выбора. По понятным причинам: к тому моменту отца невесты уже объявили врагом народа и расстреляли.

Вскоре этот брак распался, но я успела родиться от него. Когда маму арестовали, меня отправили в Донской монастырь, где тогда находился «детприемник». Запомнилось, что там было нечего есть, и мы все время жевали воск...»

Много тяжелого и печального происходило в те годы в опальном доме сестер Ильзен. Елена приютила подругу, мать которой репрессировали, – подругу арестовали в их доме, на глазах у сестер. А 7 ноября 1941 года, в день знаменитого парада, с которого уходили на фронт, у Елены родилась дочь. Новорожденную пеленали в газеты, пеленок не было. В те дни Елена Ильзен писала: *«Моей девочке очень холодно, /А девочке две недели. /Это ли не молодость...»*

После войны, весной 1946-го, Елена уехала на Чукотку, а когда вернулась хлопотать за арестованную младшую сестру, ее тоже арестовали. Отправили в Воркутинский лагерь на 10 лет по 58-й статье. Ей запомнилась бредовая и безграмотная формулировка: «За попытку намерения измены Родины». Впоследствии она говаривала с усмешкой: «Ничего не имею против этого родительного падежа: . Так ведь и есть – родина мне изменила! А вот они, полагаю, позаимствовали из приговора Чернышевскому». *измены Родины попытку намерения*

Из лагерей она вернулась в 1956-м. Дочь Наташа в то время оставалась в Москве, успев повидать и детские дома, и жизнь у разных людей. Увидев ее, Елена Алексеевна сказала своим друзьям: «Этот четырнадцатилетний волчонок не умеет читать», – и увезла ее на несколько лет обратно в Воркуту, где оставался еще круг интеллигентных людей.

«Поскольку мама всю жизнь была опорой всем своим близким, – вспоминает Наталья Ильзен, – после освобождения она не сразу вернулась в Москву: на Воркуте было проще зарабатывать деньги, кормить семью. Там ведь платили «северные надбавки». Работала она, кем придется, например, подавальщицей в ресторане – меня подкармливала. Там же она заканчивала учёбу в Сыктывкарском педагогическом институте: иметь диплом в те времена было очень важно.

На Воркуте, когда знакомились, был первый вопрос: «Вы приехали (значит, вольнонаемные работники) или вас привезли (то есть бывшие каторжане)?» Но из тех и других

собралась очень веселая компания. Домик, купленный одним бывшим лагерником-казакон, стал центром культурной жизни недавних заключенных. Общество собиралось самое избранное, милые старики-хозяева терпели шум, веселье, застолье, абсолютно все! Вы представляете, эти вырвавшиеся из ада, на волю, еще молодые люди – какой жадной жизни они были полны! Такие праздники закатывали, загадывали шарады, такие интересные разговоры вели. Хотели любить и быть любимыми. И тут мама встретила американца Жоржа Грина. Их познакомила красавица-актриса МХАТ Ляля Маевская (Елизавета Людвиговна Маевская-Людвигова – Людвиговы была знаменитая сценическая фамилия ее родителей). Попав в лагерь, Маевская, к сожалению, во МХАТ никогда уже не вернулась, после освобождения работала помощником режиссера в театре «Ромэн». Но это к слову».

Жорж Грин тоже на свой лад был личностью незаурядной, под стать Елене. Его родители, как многие в ту пору головокружительных иллюзий, так сочувствовали коммунизму, что приехали в СССР. Мальчику было 14 лет, когда они сделали это. Жорж был очень одаренным, с блестящей памятью, успел окончить Институт связи, но когда попал в лагерь, там работал в шахте. Рассказывает дочь Юлианы Ильзен Татьяна: «Однажды в шахте погас фонарь, а Грин был там совершенно один, и он исключительно по памяти, ориентируясь на знакомые выступления, в кромешной тьме нашел выход – обратный путь был не менее полутора километров». Какое присутствие духа, собранность, мужество! Далекое не всякому удалось бы выбраться из такой переделки.

...А младшая сестра Елены, Юлиана, была поразительной, уникальной красавицей, ее писали известные художники – Ватагин, Макагон. Больше всего на свете Юлиана любила кино, работала в съемочной группе режиссера Барнета и, как водилось в этой семье, обладала литературными и художественными талантами. Ей досталось еще больше, чем старшей: девять лет суровых лагерей в Тайшете, в Ухте, в Мордовии – ее перебрасывали из одного в другой. Нежная, женственная Юлиана и лесоповала хлебнула, и щепила слоду – очень вредное для здоровья производство. Но при этом всегда говорила, что, конечно, нельзя и сравнивать сидельцев 1937-39-го со второй волной арестантов: тем, предшественникам, было неизмеримо тяжелее.⁴

Погибнуть от голода ей не дали друзья-заключенные, в частности, певица Лидия Русланова, попавшая в лагерь и взявшая «прозрачную девочку» в свой лагерный театр. Юлиана выжила чудом. Дождавшись освобождения, она мечтала пожить спокойно. «Общественное бесстрашие» Елены ее раздражало. Но наперекор столь сильному несходству сестры очень дружили.

У этой удивительной семьи и корни необыкновенные. Юлиана вспоминает: «Отец моей мамы, Иван Иванович Моллесон, был знаменит, его называли первым санитарным врачом нашей страны. Он был очень видной фигурой среди зачинателей земского движения. Семейное предание таково: во времена правления Ричарда Львиное Сердце (XII век) наш предок, шотландец Моллесон, при осаде какой-то вражеской крепости первым бесстрашно преодолел крепостную стену, за что получил от короля дворянство. В первой половине XVI века, во времена правления Марии Кровавой (Марии Тюдор), Моллесоны подвергались преследованиям и вынуждены были покинуть Шотландию. Попали в Польшу, там один из Моллесонов стал видным деятелем протестантской церкви. (Кстати, в Польше есть местечко Моллесонишки). А когда было польское восстание 1830—31 годов, Моллесоны встали на сторону независимости Польши – против Российской империи – и были сосланы в Сибирь, с потерей прав дворянства. Таким образом, Иван Иванович родился в Иркутске. Он блестяще окончил медицинский факультет Казанского университета. Его перу принадлежит множество научных трудов

⁴ Юлиана Алексеевна Ильзен (1928—2006). В 1947 г. осуждена на 10 лет спецлагерей.

по санитарии и гигиене. Он первым стал заниматься статистикой в медицине, в 1871 г. издал труд «Земская медицина». Его даже Ленин поминал в своих трудах.⁵

Наша мама была «бестужевкой», – продолжает свой рассказ Юлиана. – Она закончила Бестужевские курсы, два факультета – искусствоведческий и исторический; была очень образованной женщиной, профессионально владела английским, немецким, французским, а также латынью и греческим. Ее любимым художником, творчеству которого она посвятила немало времени, был Боттичелли. Она много переводила с новых европейских языков, а преподавала латынь и греческий. Во время первой мировой войны она стала сестрой милосердия, была награждена орденом св. Георгия, в семнадцатом году организовала Женский военный съезд, где впервые были подняты и систематизированы вопросы женского воинского долга, прав семейств женщин-добровольцев и пр. Позже, в Москве в 1934 году, она основала кафедру латинского языка в так называемом Втором медицинском институте.

Мама была теософкой, состояла в Харьковском теософском обществе (одном из самых серьезных в России), видные члены которого, как и она, входили в близкий дружественный круг Максимилиана Волошина. Она верила в переселение душ, в возможность самосовершенствования человека, ради которого нужно уметь себя ограничивать, стараться жить праведно, отказываться от соблазнов. Но как этого достичь, я помнить не могла: мама попала в лагерь, когда мне было десять лет, а вернулась, когда все вокруг было так страшно, что интересоваться такими вещами никому в голову не приходило. А вдобавок ко всему она очень разочаровалась в главе харьковского теософского общества Вере Александровне Молокиной. Та в советское время очень быстро сумела найти общий язык с новой властью и стать даже каким-то начальником. У меня осталось в памяти, что теософы еще до революции, когда это было больше никому не известно (а ныне так популярно) занимались, среди прочего, некоторыми приемами восточной борьбы. Мама со смехом рассказывала, что однажды маленькая, субтильная, в пенсне Вера Александровна несла по вечернему Харькову в смутное революционное время сумку с какими-то ценностями и на нее напал огромный бандит. Она своим маленьким кулаком точно ударила его в лоб. Бандит упал. Она добежала до дому в панике, там все бросились к ней, восклицая, что ее могли убить.

– Нет, это я убила, – пролепетала она.

И упала в обморок.

Мама с папой были очень разными людьми. Она, Елена Моллесон, – искушенная в античности, преданная изысканным формам Боттичелли, очарованная книгами Блаватской, испытывавшая тягу к туманам древних оккультных учений. И он, Алексей Иванович Ашупп-Ильзен, рижский немец из бедной многодетной семьи, сын плотника, увлеченный марксист, своей ученой карьерой обязанный только упорному труду и личным способностям, истовый революционер, первый организатор марксистских кружков в Риге, где он занимался подпольной типографией.

Папа себя считал прежде всего профессиональным революционером. В 1903 году за распространение листовок в церкви он попал в рижскую тюрьму, потом за организацию тюремного бунта был переправлен в Петропавловскую крепость Петербурга. Вернувшись оттуда, принимал участие в освобождении приговоренных к казни революционеров, содержавшихся в тюрьме под Ригой. Это не удалось: вмешались уголовники, тоже жаждавшие свободы, был убит тюремный надзиратель, план сорвался. Хотя папа в то время, конечно, находился под надзором полиции, ему все же удалось спастись, исчезнуть, уехать в Европу со своей невестой Вильгельминой. Позже, оставив глубокую рану в папином сердце, она выйдет замуж за Фрица Штамберга, будущего депутата рейхстага от Коммунистической партии. Когда к власти при-

⁵ Иван Иванович Моллесон (1842—1920) русский санитарный врач, один из организаторов земской медицины.

шли нацисты, они оба приехали в Советский Союз. Штамберг похоронен у Кремлевской стены; что случилось с Вильгельминой, понятия не имею».

Живя в Европе, Алексей Иванович водит знакомство с Лениным и Луначарским, блестяще заканчивает естественный факультет Цюрихского университета, становится доктором философских наук. Настоящая его фамилия Ашупп или Ошупп, а Ильзен, собственно, всего лишь одна из многочисленных партийных кличек, ее происхождение связано с немецкой коммуной в местечке Ильзенбург, которое и по сей час существует на юго-западе Германии.

Потом он вдруг – неведомыми путями – оказывается на фронтах Первой мировой, где служит медбратом. Там он влюбляется в рафинированную красавицу, сестру милосердия Елену Моллесон. В такую невозможно было не влюбиться. Он познакомился с ней в санитарном поезде, на котором ехал делать революцию. Венчались они в церкви.

Почти все не совпадало у этих двоих – вкусы, пристрастия, круг общения. Но было и важное сходство: недюжинный общественный темперамент и твердые жизненные принципы. У каждого – свои.

«При встречах с Алексеем Ивановичем Ленин неоднократно говорил, что, мол, такой революционер не может отсиживаться в Европе, когда в России революция... Не в добрый (для Ашупп-Ильзена) час эти призывы вождя были услышаны. После революции папа занимал высокий пост заместителя председателя Госплана Украины. В 1928 году, не согласившись с новым партийным курсом, в том числе с коллективизацией, он из партии вышел. Сознательно продумав последствия такого поступка и не придя на очередную чистку, он был определен в разряд «механически выбывших». Дома, как мама говорила, «оборвали» телефон, заседали с вопросами, почему Ильзен не является на чистку. Но отец, уже наслышанный о чудовищных или нелепых вопросах, которые там задавали старым партийцам, идти твердо не собирался.

В частности, один из старых большевиков, его приятель Викторов, строитель Комсомольска, возмущался: его не хотели оставлять в партии, потому что комиссии стало известно, что он целует руку жене... Папа участвовать в этой набравшей обороты несурзнице не захотел. Тем не менее тогдашний председатель Госплана Гринько, будучи переведен в Москву и ценя Ашупп-Ильзена, сумел перетащить его с собой и даже «выбить» ему квартиру в Новинском переулке. Последним местом папиной службы был Наркомздрав СССР, он работал у наркома Григория Наумовича Каминского. Как говорили, Каминский так им дорожил, что специально изобрел для него должность «старшего консультанта Наркомздрава»...

Папу арестовали 5 июня 1937 года в Сочи. Приговор «десять лет без права переписки». Перед этим арестовали Каминского, по легенде, как-то наспех, «на скорую руку», в перерыве между заседаниями. Расстреляли тоже быстренько, через 2 дня: такая даже по тем временам беспрецедентная скоропалительность была с связана с тем, что, по слухам, на том заседании Каминский позволил себе открыто бросить серьезные обвинения в адрес Берии. Одна из женщин в лагере, где я позже оказалась, рассказывала, будто, находясь на злополучном заседании, подсмотрела в щелку двери, как тащили окровавленного Каминского. Жена от него отказалась, но ее все равно арестовали, причем в тот день, когда она кончила кормить ребенка грудью...

А надо добавить, что еще задолго до этих событий, тотчас после смерти Андрея Белого, в 1934-м, было заведено «Дело теософов», и Елену Ивановну в первый раз арестовали по этому делу. Тогда ее спас Каминский, и до 1937 года ее не трогали. А в ноябре 37-го арестовали вновь как «члена семьи врага народа» и отправили в Темниковские лагеря в Потьму, в Мордовию – на разные работы, куда пошлют... Я помню ее уже тяжело больным, сломленным человеком. Елена Ильзен-Моллесон была вегетарианкой и принципиальной сторонницей аскетического воспитания (мы, к примеру, жили в привилегированном доме для членов правительства, а одевали нас очень плохо). Зато мама щедро тратила деньги на образование. Она ужасно не любила официальные школы: Аля училась дома до 9 класса, меня отдали только в 4-й, до этого мы занимались по маминой системе, она боялась чуждых влияний. Мне, надо сказать, это страшно

не нравилось. И эти «домашние школы» стали главным пунктом ее обвинения по «делу теософов».

Маму освободили в 1942-м. Нам, дочерям, не верилось, что папа погиб, мы же не знали тогда, что «десять лет без права переписки» означает расстрел. Думали, что существуют такие «лагеря без права переписки». И после войны, когда окончился папин срок, я начала бегать по инстанциям и таким образом «засветилась». Именно эти мои поиски отца стали причиной ареста моего и сестры. Так мы обе думали, потому что до той поры никто не знал об аресте папы и мамы: ни в одной анкете мы этого не указывали, да и никаких рискованных высказываний себе не позволяли. К тому времени Аля уехала на Чукотку. Мы ведь страшно нуждались, и она, чтобы подзаработать денег, преподавала английский язык чукотским детям.

Перед арестом ко мне подсылали разных людей, я бы даже сказала, что за мной «охотились». Больше всего я обвиняю Наталию Александровну Венкстерн, дочь писательницы и драматурга Н. А. Венкстерн, близкой знакомой Булгакова. Писательница все время крутилась вокруг Художественного театра, все актеры бывали у нее дома, к постановке были приняты ее инсценировки «Пиквикского клуба» и прочее.⁶

Видимо, когда я стала одно за одним подавать заявления с просьбами сообщить о судьбе папы, Наташе дали задание как-то спровоцировать меня, что она с успехом и сделала. Она привела ко мне одного якобы своего приятеля, с вином, с закусками. Сели за стол, через некоторое время он сделал вид, что страшно пьян. Наташа неожиданно спрашивает:

– Вы смотрели спектакль «Молодая гвардия», вам понравилось?

– Очень, – говорю.

– А как же с вашим образом мысли могло такое понравиться?

Я тут же прекратила разговор. На следующий день я помчалась к ней:

– Почему вы при посторонних позволяете себе такие вещи?

Она стала уверять, что знает своего приятеля очень хорошо. И тут я стала ей говорить, что мы выиграли войну, что теперь только жить, а столько народу арестовано, все парализованы страхом. А она мне в ответ: мол, Сталин не знает, что такое количество в тюрьмах и лагерях. И тут я говорю:

– Если он стоит во главе государства, как же он может не знать? Вот сам бы посидел, тогда бы знал.

Это все, что я сказала. Вот за эту-то фразу мне дали статью «террор»: «58—8, через 17-ю». Меня посадили через 2 месяца. Один наш знакомый (Слава Кузнецов, будущий директор музея М. Горького) давал читать Наташе свои дневники, утром забирал. Когда узнал, что нас арестовали, он дневники сжег. Не помогло – при аресте ему предъявили фотокопии дневников.

Але на Чукотку смогли послать телеграмму: «Юлиана уехала к папе». Аля все сразу поняла, приехала в Москву. Все знакомые и соседи от нее с ужасом шарахались, а Наташа предложила остановиться у нее. И, естественно, Аля говорила ей: «Зачем Юлиану арестовали, зачем, она же почти ребенок!» И прочее.

Алю тоже арестовали, отправили в воркутинский лагерь. Все, что она заработала на Чукотке, все деньги – взяла Наташа. И вот этого-то я ей забыть не могу! Все прочее я понимаю: доносы, информация – ее могли запугать, заставить, но чтобы вот это? Нет, не могу! Как бедствовала моя мама, как бедствовали тетя и маленькая дочка Али после нашего с ней ареста, представить невозможно. Та все это знала – и все равно не отдала... Мне в лагерь сообщали, и я написала ее матери-писательнице с просьбой отдать деньги, ведь мама с маленькой внучкой голодают. Так Наташа, говорят, бегала жаловаться в органы, что я, дескать, позволяю

⁶ Н. А. Венкстерн (1891—1957) детская писательница, дочь писателя Венкстерна Алексея Алексеевича (1856—1909), автор запрещенной Советами книги «Аничкина революция» (1928) о трагической судьбе воспитанницы института благородных девиц.

себе такие письма слать из лагеря. А ей там ответили спокойно: «Ну, если должны деньги, так отдайте».

В 1956 году, освободившись, мы с Алей к ней пришли – специально, посмотреть в глаза. Вы бы видели, как она помертвела! Она же думала, что мы никогда не вернемся, погибнем! Залепетала посиневшими губами: «Вы понимаете, я была вынуждена»... А деньги она вернула через два дня после нашего посещения. Но мама тогда уже умерла, те деньги не были больше настолько нужны, все это было запоздалым...

В тюрьме меня продержали семь с половиной месяцев, затем – лагеря. На следствии в те времена – это была уже вторая волна арестов, 1947—49 годы, – мне давали читать то, что заносилось в протокол, я даже пыталась просить что-то исправить. Могу сказать, что спрашивали вроде бы о фактах совершенно невинных, а при записи ответам придавалась особая окраска, которая полностью меняла их смысл. Приведу типичный пример:

– Сколько раз ты встречалась с таким-то?

– Ну, один-два раза. (Речь шла о почти незнакомом человеке). А напишут так: «Неоднократно встречалась...» Или:

– О чем ты говорила с Машей?

– О том, как хорошо съездить отдохнуть на Угру.

Спрашивают то же самое у Маши, она отвечает, например:

– О том, как готовить блинчики.

Все. Мы не совпадаем в показаниях, значит, был умысел, а разговор велся на антиправительственные темы. Вот на таких вещах «ловили» и «строили дело». Одна моя сокамерница, некто Головина, из семьи известных театральных деятелей, для которой главный смысл жизни по молодости заключался в любовных романах, рассказывала: приходит к ней подруга и говорит:

– Ты знаешь, новое постановление правительства...

А та ей:

– Да к черту это, я ни о чем думать не могу, все мысли только о нем!

Отсюда в ее деле появилась запись: «Посылала к черту Советское Правительство». Так можно было интерпретировать практически все житейские факты. Тогда я раз и навсегда отказалась объяснять для себя действия советской власти...»

Юлиана Ильзен на склоне лет понятие «счастья» формулировала так: «Счастье – это когда ты, засыпая, хочешь проснуться утром». Потом сестры жили в Москве, Юлиана так и не вернулась в кино, работала чертежницей, жила заботами о близких, о дочери Тане, пережившей детдом и скитания во время заключения матери, о муже-фронтовике Викторе Георгиевиче Титкове. Он был тяжело искалечен жизнью: когда-то попал в немецкий плен, умудрился бежать оттуда, а затем, как обычно бывало, угодил в наш лагерь. Еще Юлиана тихо помогала, чем могла, оставшимся в живых старушкам и старикам, бывшим зэкам. Но никогда и никакой общественной активности не проявляла.

Елена же, напротив, жила бурной и, как тогда говорили, богемной жизнью, работала переводчицей во Всемирной организации здравоохранения при ООН, следила за периодикой, была в курсе как художественных новинок, так и новой публицистики. Дружба с Н. И. Столяровой, секретарем Эренбурга, позволяла ей читать зарубежные издания и печататься во французской периодике (в газете «Русская мысль»). Еще она тогда подрабатывала в журнале «Хроника ВОЗ». А в последние годы, хоть раньше терпеть не могла хозяйства, со всем азартом своей недюжинной натуры увлеклась садом, дачей, научилась варить варенье, печь пироги, полюбила земные простые радости, которые дарила жизнь.

Стихи, оставленные нам Еленой Ильзен, написаны верлибром, лишены романтического флера, да пожалуй, и женственности. Их сила – в остроте осмысления, в тяжелой простоте, достоинство – в гневе их правды, в том, что жизнь опустошенная, покалеченная искала выхода

в творчестве. Это жесткие стихи-были, если угодно, антистихи. Используя этот жанр, Ильзен добивалась – при полной правдивости образов – некоторой их условности, необходимого ей художественного отстранения. Если бы вместо этой «документальной поэзии» она стала писать прозу на те же темы, нестерпимость реальности, может статься, оказалась бы ей не по силам. Но этого мы не узнаем. Остался только один ее прозаический отрывок – «Воркутинские письма» – собственно, не текст, а «мартиролог текстов», когда-то написанных в безрассудстве отчаяния, канувших в никуда..

*Так уж глаза опускали,
Бросив цветы на кровать.
Так до конца и не знали,
Как нам друг друга назвать.
Так до конца и не смели
Имя произнести,
Словно замедлив у цели
Сказочного пути.*

Реплики в споре

Елена Алексеевна на своем веку написала много писем. Да и статей не одну. Но не те были времена, чтобы хранить бумаги, способные «в случае чего» повредить автору и адресату. Да и она сама относилась к своим писаниям довольно небрежно. Так и вышло, что из всего ее эпистолярного наследия сохранилось два письма. Зато важные. Особенно если вспомнить, когда это писалось и кому. И статья – единственная. Вот они.

1. Письмо к Варламу Шаламову

Нет, Варлам Тихонович, Вы неправы. Нет и не может быть никакого ценза на право иметь или высказывать мнения. Ни нравственного, ни образовательного, ни имущественного, ни расового, ни возрастного – никакого. И самый нравственный, образованный, богатый, арийский и старый человек может высказать совершенную чушь et vice versa.

Для меня это вопрос не академический. Слишком часто мне говорили, что я не имею права говорить (и думать) оттого, что у меня нет соответствующего диплома, я занимаю не ту должность, возраст мой не соответствует и т.д., что я не могу судить о действиях начальства и пр. Неправда – могу, имею право, и никаких особых условий для этого не надо. Это и есть один из основных признаков свободы – терпимость и право на свободное слово.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.